

РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

*В.Б. ПАСТУХОВ***Государство раскольников.
Карма российской власти**

Автор рассматривает историческое развитие России как уникальный в мировой культуре социокультурный процесс движения от неорганичности (неоднородности) к органичности через длительную эволюцию. Основной чертой этого движения стал раскол как внешнее проявление неорганичного характера российской культуры. Эпохи Империи и большевизма рассматриваются как шаги к преодолению социокультурного раскола, перехода страны к Новому времени.

Ключевые слова: российская цивилизация, раскол, социокультурное развитие, империя, большевизм, общество модерна.

The author considers the historical development of Russia as a unique in the world culture socio-cultural process of movement from nonorganic (heterogenic) to the organic nature through the long-term evolution. The main feature of this movement was the split as an external manifestation of nonorganic character of the Russian culture. Ages of Empire and of bolshevism are considered as steps towards overcoming of socio-cultural divisions, the country's transition to a New time.

Keywords: Russian civilization, split, social and cultural development, the empire, bolshevism, modern society.

Сегодня, 20 лет спустя после того как, выражаясь языком авторов Беловежского соглашения, Советский Союз “перестал существовать как геополитическая реальность”, он продолжает существовать как “виртуальная реальность”, напоминая о себе чертами сходства власти нынешней с властью прошлой. Вообще, больше всего русская власть похожа на птицу Феникс. Сколько бы ее ни сжигали, она чудесным образом возрождается из пепла, меняя только свой “окрас”: с черного с золотом на оглушительно красный, с красного на экзотический “триколор”. Но по сути – это все та же птица...

Вот и расставание с СССР оказалось недолгим. Пережив очередное “превращение”, русская власть восстановилась внешне почти во всех своих до боли знакомых исторических деталях. Волей-неволей приходится констатировать преемственность русской политики. Те, кто полагали, что русскую политическую традицию можно сломать одним напряжением воли, оказались посрамлены. СССР еще долго будет оставаться точкой отсчета для всех “концептуализаций” российского государства. Его неожиданное политическое рождение в начале XX в. и еще более неожиданная политическая смерть в конце этого же века оставили теоретикам русской государственности много вопросов.

Пастухов Владимир Борисович – доктор политических наук, кандидат юридических наук, научный директор Института права и публичной политики, советник Председателя Конституционного суда РФ.

В последние годы доминирующим в общественном сознании посткоммунистической российской элиты был взгляд на советское государство как на историческую аномалию. Сторонники этой точки зрения считают, что коммунистический режим в России был отклонением от “нормального”, “общечеловеческого” пути, вызванным как субъективными (точка зрения большинства), так и объективными (мнение меньшинства) причинами.

Начиная с конца 1980-х гг. я пытался последовательно отстаивать принципиально отличный от общепринятого в то время взгляд на коммунистический этап в развитии российской государственности, подчеркивая, что российский коммунизм выглядит аномалией лишь в рамках западной культурной традиции. Для России это была исторически логическая фаза ее развития.

Поскольку Россия представляет несколько иной, чем “западный”, тип культуры, то распад коммунистической системы означает для нее не столько “возврат к западным ценностям”, сколько начало новой фазы эволюции весьма специфической “евразийской” цивилизации. Я полагаю, что в посткоммунистическом российском обществе западные ценности не смогут быть прямо заимствованы и усвоены. В лучшем случае, они будут перерабатываться чуждой для них культурной средой в нечто новое и в достаточной степени оригинальное.

Россия – это особый мир. Ее история – история развития уникальной мировой культуры, отличающейся от культуры как Запада, так и Востока. Российская культура имеет смешанную природу, соединяя в себе европейское личностное и азиатское общинное начала. Русская культура изначально возникает как нечто неорганическое (неоднородное) и движется к органичности через длительную эволюцию. История России поэтому – прежде всего история постоянных культурных трансформаций.

Неорганичность российской культуры проявляла себя во времени как неравномерность исторического развития. Периодические “коллапсы” культуры имманентны российскому типу развития. Именно в такие моменты происходит переход от одного внутреннего “культурного типа” к другому. Российская революция есть прежде всего культурная революция. Политическую историю России формирует борьба не социальных, а культурных классов.

Разрывы постепенности в историческом развитии выражены по этой причине в русской истории более рельефно, чем в истории многих других народов. Смена эпох в России выглядит как полный разрыв со своим культурным прошлым. Из революций русские выходят “нерусскими”, другим народом. И только позже оказывается, что они, как никто другой, умеют оставаться самими собой. Вот почему раскол стал центральным пунктом истории российской государственности. Раскол – отнюдь не чисто русское явление. Но только в России государственность возникла не из преодоления раскола, а на его основе. Русское государство – государство раскольников, нашедших в нем уникальную форму сосуществования.

Предчувствие раскола

В истории России можно выделить пять эпох, олицетворяющих собой различные типы культуры: древнекиевский период, время удельных княжеств, Московское царство, Российскую империю и Советскую Россию. Строго говоря, российской истории принадлежат только три последних. Древняя Русь и феодальные княжества под татаро-монгольским господством – предыстория России, когда закладывались предпосылки ее культуры. Собственно российская история как история развития особой цивилизации начинается с возникновением Московского государства.

Как пишет К. Кавелин, на первый взгляд Московское царство было азиатской монархией в полном смысле слова [Кавелин, 1989^a, с. 229]. По его мнению, государственный строй был точным слепком с патриархально-общинного уклада, а тип вотчинно-владельца – полного господина над своими именными – лежал в основании власти государя и повторялся до последнего подданного.

Все подчинялось закону общины. Само государство, казалось, было лишь *моментом* в ее вечном и неизменном движении. Нигде на поверхности общественной жизни индивидуальность не проявляла себя. Государственная власть ничем не выказывала того, что на нее возложена какая-то особая миссия, не обнаруживала своей главной функции – генератора общественного развития. Тем не менее индивидуальное начало незримо присутствовало в российской истории испокон веков. Было готово к выполнению своей особой миссии и государство. Просто в Московском царстве истинная роль личности и державы были едва видимы под старыми традиционными формами [Кавелин, 1989⁶, с. 48].

Однако об этом можно судить лишь по косвенным признакам, например по тому размаху, который приняло движение казачества. Внутри традиционного уклада, а часто и вопреки ему рождалась личность, которой было тесно в общине с ее неподвижными устоями. Она не хотела покорно нести вместе со всеми тяготы коллективного “государственного рабства” и рвалась на простор.

Власти своими действиями сама подспудно усиливала роль личностного начала в государственной и общественной жизни. Государь сам был личностью. Сопrotивляясь местничеству, он боролся за собственную эмансипацию от патриархального мира, за право властвовать по своему разумению и воле, а не в соответствии с традициями.

Петровская империя, признанная самой неорганичной эпохой российской истории, обычно противопоставляется Московскому царству как времени единства культуры и народного бытия. Такое противопоставление, по-моему, некорректно. В культурном отношении Московское царство было таким же неорганичным, как и наследовавшая ему империя, но в скрытой (латентной) форме¹. Петровская эпоха не породила неорганичности, а лишь актуализировала, сделала явным то, что было заложено с самого начала.

Задолго до Петра I в общественной и в государственной жизни Московского царства определились противостояние двух начал, составляющих основу российской культуры: личностного и общинного. Просто рано или поздно должен был наступить момент, когда это противостояние проявит себя выпукло, как полный разрыв, как противопоставление. Это и случилось в XVII в., когда власть в России вплотную подошла к необходимости осуществления глубоких реформ.

По словам В. Ключевского, в это время внутри России вновь началось великое брожение. Сотни тысяч людей бросали насиженные места, порывали с общиной и уходили на окраины в казаки. Государственное управление деградировало. Традиционные властные институты не действовали в новых условиях. Кризис охватил православие. Сохранялась лишь внешняя религиозность, о чем свидетельствовали резкое падение нравов, повсеместное распространение пьянства и варварства [Ключевский, 1990, с. 330].

В таких условиях, как ни странно, резко усилилось влияние государства на культурное развитие. Дело даже не в реформах, затеявших власть. Важнее другое: государство, содействуя развитию личностного начала, приступило к последовательному “насаждению” новой культуры. В результате расслоение общества по “культурным типам” увеличилось в разы. В столице России появлялось все больше самостоятельно мыслящих людей, подвергавших сомнению непоколебимость старинных устоев². Но в провинции все оставалось по-прежнему. Суеверие и идиотизм деревенской

¹ Вот что пишет по этому поводу В. Ключевский: «И в XVII веке, как в X, из общества продолжали выделяться люди, у которых “сила по жилочкам так живчиком и переливалась”... и которые шли гулять в поле, в степь... Быт, подвиги богатырей древности сходны с бытом, подвигами казаков, и народное представление верно отождествляет эти два явления» [Ключевский, 1990, с. 246].

² Вот как пишет об этом С. Соловьев: “Мысль была возбуждена религиозными вопросами, люди с возбужденною мыслию просиживали в Москве ночи с учеными киевскими монахами; другие стремились в Киев, в тамошние школы, к тамошним ученым и, возвратясь в Москву, спорили с своими отцами духовными, доказывая им, что они не так понимают дело... Богословские споры овладевают вниманием общества, в домах и на улицах мужчины и женщины спорят о времени пресуществления, упрекают друг друга в еретицестве” [Соловьев, 1989^а, с. 448].

жизни господствовали на огромных просторах. И у этой массы были свои пастыри, фанатичные начетчики, истово ненавидящие всякую самостоятельную мысль, всякое не освещенное древней традицией слово.

В этот момент отчетливо обозначилась пропасть между двумя “культурными типами”, выраставшими на российской почве. Все меньше общего оставалось между двумя частями одного народа. В подобных обстоятельствах не могла не возрасти роль государства как единственной силы, способной соединить эти культурные “классы” в одно целое. В то же время то самое государство, которое должно было соединять культурные классы в единое целое, оказалось поставлено в условия, при которых оно само же было вынуждено постоянно нарушать *status quo*, ускоряя процесс культурного расслоения. Государство тонуло в этом культурном раздвоении, но продолжало “раскачивать лодку”. Русские цари прилагали титанические усилия, чтобы заполучить практические знания европейцев. Конечно, при этом они пытались исключить возможность духовного влияния Европы на русских людей. Борис Годунов предпочитал отправлять молодых людей учиться в Европу, а не приглашать наставников в Россию. Кстати, почти никто (а по свидетельству историков, вообще ни один) из посланных за знаниями не вернулся на родину. Поэтому в XVII в. в Московию все-таки пригласили киевских и греческих монахов, знавших европейские науки, но все-таки православных. Этого оказалось достаточно, чтобы “процесс пошел” с удвоенной силой.

Раскол как “точка старта”

К середине XVII в. в России подспудно сформировались два взаимоисключающих культурных типа – “русские индивидуалисты” с самостоятельным мышлением и независимой волей, и “русские коллективисты”, испытывающие страх перед самостоятельной мыслью и живущие “по традиции”. Они расходились между собой все дальше и дальше, и в конце концов, власть была принуждена делать политический выбор между ними.

Повод не заставил себя ждать. Разгорелся спор в связи с начатой по инициативе верхов работой по исправлению церковных книг. В нем власть поддержала молодых, преимущественно малороссийских богословов. Но “пошел вопль” от старых исправителей книг, оскорбленных обвинениями в их искажении. Соловьев пишет, что стоило, однако, раздаться кличу “вера в опасности”, ее “переменяют”, как слова эти нашли сильный отзыв, тем более, что и в других сферах уже началось движение к новому, ранее неизвестные обычаи бросались в глаза, раздражали. Пришли люди, провозгласившие наступление “последних времен” и надобность “стать и помереть за веру”. Возникло массовое движение. Явился *раскол* [Соловьев, 1989⁶, с. 448].

Раскол – важнейший пункт российской истории. Им заканчивается первый ее цикл. С него же начинается следующий. Раскол – внешнее проявление гетерогенного, неорганического характера российской культуры³. Исподволь протекавшее культурное расслоение превратило государство в единственного гаранта культурной целостности народа. Но оно оставалось при этом и гарантом общественного развития. Власть не только не могла приостановить дальнейшую культурную стратификацию, но и выступала катализатором данного процесса.

В стремлении преодолеть общественный кризис власть вначале широко открыла двери России для европейского опыта, а затем, пытаясь адаптировать его к российским условиям, была вынуждена инициировать “реформу” самого православия. Эти меры чрезвычайно ускорили процесс культурного расслоения и привели общество к окончательному расколу.

³ Не могу не отметить, что категория “раскол” – важная часть концепции российской истории А. Ахиезера (см. [Ахиезер, 1997–1998]). Но так как трактовка им раскола имеет свою специфику, связанную с общетеоретическими построениями ученого, я в своем анализе не касаюсь данной трактовки. Ее рассмотрение выходит за рамки моего исследования.

Положение власти оказалось незавидным. Она очутилась, если говорить иносказательно, между Сциллой с ее собачьими головами и зевом-водоворотом Харибды. Ощущения у нее (власти) были, думается, сродни одиссеевым. С одной стороны, государством же востребованные реформаторы желали решительных перемен везде и во всем, “критика” распространялась, как эпидемия. В рассылаемых по всей стране “обличительных письмах” бичевались казавшиеся незыблемыми вековые устои и нравы. Но власть не хотела, да и не могла двигаться вперед столь быстро, как того требовали сторонники прогресса. Ключевский пишет, что сам Алексей Михайлович был человеком переходного времени. Не чуждый “новым веяниям”, мягкий, склонный к компромиссам, он в то же время оставался целиком в плену традиций [Ключевский, 1990, с. 108]. Между властью и нетерпеливыми приверженцами перемен все чаще стали возникать трения, и многие из последних не избежали опалы.

С другой стороны, защитники старины, “раскольники” яростно выступали против нововведений. За ними была сила, шли огромные массы людей. Но лозунг этого движения, ярко сформулированный протопопом Аввакумом, – “до нас положено, лежи оно так во веки веков”, – был совершенно неприемлем с точки зрения государственных интересов России. Потому, по мнению Соловьева, власть обречена была вести беспощадную борьбу с раскольниками [Соловьев, 1989⁶, с. 448].

Для понимания исторического момента полезно вспомнить такую характеристику Ключевского: «Царь Алексей Михайлович принял в преобразовательном движении позу, соответствующую такому взгляду на дело: одной ногой он еще крепко упирался в родную православную старину, а другую уже занес было за ее черту, да так и остался в этом нерешительном переходном положении. Он вырос вместе с поколением, которое нужда впервые заставила заботливо и тревожно посматривать на еретический Запад в чаянии найти там средства для выхода из домашних затруднений, не отрекаясь от понятий, привычек и верований благочестивой старины... Люди прежних поколений боялись брать у Запада даже материальные удобства, чтобы ими не повредить нравственного завета отцов и дедов, с которым не хотели расставаться как со святыней; после у нас стали охотно пренебрегать этим заветом, чтобы тем вкуснее были материальные удобства, заимствуемые у Запада. Царь Алексей и его сверстники не менее предков дорожили своей православной стариной; но некоторое время они были уверены, что можно щеголять в немецком кафтане, даже смотреть на иноземную потеху “комедийное действо”, и при этом сохранить в неприкосновенности те чувства и понятия, какие необходимы, чтобы с набожным страхом помышлять о возможности нарушить пост в крещенский сочельник до звезды» [Ключевский, 1990, с. 108].

Раскол, на мой взгляд, есть нечто большее, чем историческое явление, обычно обозначаемое данным термином. Это не столько массовое движение второй половины XVII в., сколько сущность нового типа российской культуры, пришедшего на смену культуре Московии. Это была особая, единая, но внутри себя расчлененная *надвое* культура.

В одном народе как бы сосуществовали два социума, различавшиеся между собой условиями жизни, бытом, ментальностью и даже языком. Иногда кажется, что “верхи” и “низы” (условно) российского общества в XVII–XIX вв. имели разную историю, настолько велика была пропасть между ними. На самом деле то были две ветви одной культуры, а сама раздвоенность – определенный способ ее бытия в рамках данного исторического периода.

Раскол должен быть понят как *цивилизационное явление*. Он был новой фазой в развитии присущего российской культуре противоречия, которое при всей своей уникальности изменялось соответственно общим для любого противоречия правилам. Известно, что “на поверхности явлений развивающееся сущностное противоречие до определенного момента выступает в облике разнообразных форм движения, которые носят, – как ни парадоксально, – непротиворечивый характер” [Горлянский, Горлянская, 1981, с. 63]. Очевидно, что именно в таком скрытом виде противоречие между общинным и личностным началом в российской культуре проявляло себя в эпоху

Московского царства. По мере созревания непротиворечивые формы сменяются непосредственным проявлением противоречия в виде антиномии, то есть конфронтации внешне обособленных противоположностей.

Раскол как раз и свидетельствовал, что развитие противоречия, формирующего природу российской культуры, вступило в эту новую открытую фазу. Борьба двух начал в российской культуре проявилась на поверхности в виде борьбы двух культурных “классов” – “мыслящих” (европеизированных) “верхов” и “чувствующих” патриархальных (азиатских) “низов”. Общество не могло долго оставаться в расколотом состоянии, иначе оно неминуемо погибло бы. Противоречие должно было перейти в следующую фазу, когда движение противоположностей опосредствуется каким-либо третьим началом (подробнее о движении противоположностей см. [Маркс, Энгельс, т. 46, ч. I, с. 288]).

Именно такую роль в отношениях между двумя культурными “классами” общества сыграло “государство нового типа”, созданное Петром I. Выступив вначале как обыкновенный медиатор, оно постепенно вобрало в себя обе крайности и превратилось в итоге в *опосредствование самого себя*. В этом, на мой взгляд, разгадка “тайны” Российской империи.

Империя как преодоление раскола

Империя не создала раскол. Напротив, она его устранила с поверхности общественной жизни, сделала уже существующий раскол своим внутренним содержанием. Начав реформы, власть спровоцировала давно назревавшую культурную революцию. Не Петр, сын царя Алексея, изменил Русь. Напротив, когда он взшел на трон, перед ним уже лежала другая Россия, где господствовала новая, двулика, как Янус, культура.

Поэтому задача, стоявшая перед властью, усложнилась. Она не только должна была довершить реформы, направление которых было предопределено историческим развитием последних полутора столетий, но и приспособиться к новой культурной среде, к пронизавшему общество расколу, к культурному противостоянию, разрывавшему народ на части.

К концу XVII в. становится заметным, что основное общественное противоречие как бы *удваивается*. Наряду с выраженным противостоянием двух “культурных классов” внутри общества отчетливо вырисовывается противоречие между обществом в целом и государством. В этой сложной фигуре взаимоотношений положение государства было довольно замысловатым. С одной стороны, чем дальше культурные крайности расходились между собой, тем труднее было государству управлять общественными процессами, тем менее эффективной оказывалась его деятельность. С другой стороны, чем острее становилась общественная борьба, тем более угрожающе государственная власть возвышалась над ослабленным народом.

Ни один из “лагерей” не представлял из себя сколь-нибудь мощной самостоятельной силы, на которую власть могла бы опереться. Соловьев с горечью замечает по этому поводу: “Ученые, призванные в Москву для защиты православия научными средствами, разногласят друг с другом” [Соловьев, 1989^б, с. 453]. Но и на другом, патриархальном, ортодоксальном берегу не было единства. И здесь Соловьев вынужден констатировать: “Отвергнувши раз авторитет церковного правительства... раскол... должен был расприснуться на множество толков по множеству толковников” [Соловьев, 1989^а, с. 328]. В мире борющихся “партий” одна власть сохранялась как монолит. И чем больше их было, тем сильнее на этом фоне выглядело государство.

Россия познала силу и бессилие власти – вполне заурядный парадокс политики. Чем менее эффективным было государство, тем более мощным оно становилось в сравнении с обществом. Рано или поздно оно должно было поглотить общество вместе со всеми его противоречиями.

Однако старое государство эпохи Московского царства было не в состоянии сделать это. Оно “разрывалось на части”, пытаясь *раздельно* решить две задачи: сохранить единство общества и стимулировать его развитие. Нужно было реформировать само государство, чтобы совместить обе цели.

Решение именно этой задачи оказалось по плечу энергичному Петру. Для созданного им государства *спасение* и *развитие* России – уже не разные задачи, а лишь *стороны одного процесса*. Такое государство занимает по отношению к обществу активную позицию и почти мгновенно “проглатывает” его, разом *огосударствляя* все ранее самостоятельные сферы общественной жизни.

Вместе с тем и раскол принимает государственную форму. Противоречие, породившее ранее два непримиримых культурных “класса”, стало с того момента свойством государства. Власть окончательно приняла вид *обруча*, намертво обхватывавшего общество и не дававшего ему распасться вследствие борьбы враждующих группировок.

С этого момента и без того слабая способность общества к единению вовсе атрофировалась. Так человек, привыкший ходить, опираясь на палку, со временем теряет способность без этой палки жить и двигаться. Бремя единства стало злым роком русской власти. Стоило кому-то попытаться оторвать русское государство от общества, как это общество тут же разбрызгивалось на беспомощные, враждующие между собой фрагменты. Русскому обществу с государством всегда плохо, а без государства невозможно. В этом была его историческая трагедия.

Государство стало соединительной тканью общества, опосредствованием всех его внутренних отношений, оно растворило общество в себе и само растворилось в обществе. Это опосредствование было, безусловно, и высшей формой движения скрытого в русском обществе противоречия, но не оно не было его разрешением. Это обнаружилось, когда уже в зрелой Империи “противоположности”, скрытые до поры до времени, стали сталкиваться, ломая сложившиеся опосредствующие государственные связи (см. [Маркс, Энгельс, т. 23, с. 124]).

Если в допетровскую эпоху раскол был чем-то внешним для власти, и усиливавшееся культурное расслоение народа не ослабляло государство непосредственно, то в эпоху Империи раскол стал его внутренним моментом жизнедеятельности. Поэтому внешне незаметное, непрекращавшееся углубление раскола непрерывно подтачивало устои державности.

После того как российское общество было *поглощено* государством, все то, что раньше ослабляло общество, стало напрямую истощать власть. С момента наибольшего возвышения государства над обществом началось и его неизбежное разрушение.

Казалось бы, и общество, и государство были обречены. Если в основании мы имеем два враждующих между собой культурных класса, то власть неизбежно должна “провалиться” в зор между ними, либо они должны разорвать ее на части, как сдетонировавшая взрывчатка разрывает бомбу. Но этого не произошло. “Русская система” продемонстрировала никем не предвиденный потенциал устойчивости. Властный обруч оказался настолько сильным, что враждебные элементы культуры длительное время оставались в постоянном соприкосновении друг с другом, как будто сдавленные гигантским прессом.

В пределах Империи при продолжающемся углублении раскола начался и встречный ему процесс. Благодаря сдерживающему, опосредствующему влиянию государства, отталкивание двух внешне обособленных культур было ограниченным. Накрепко прикованные властью друг к другу, они вынуждены были взаимодействовать. На границе этого взаимодействия, там, где культурные “волны” накатывались друг на друга, зарождалась третья сила – некая *синкретическая* культура, в которой противоречие между общинным и личностным началами находило не мнимое, временное, а действительное разрешение.

Таким образом, в Российской империи одновременно шли два разнонаправленных культурных процесса. Углублялся распад общества на два культурных “класса”. Вместе с тем в постоянном их столкновении возникал третий “класс”, который был носителем новой культуры.

Но при этом и *третья сила*, развиваясь, действовала в отношении российской государственности в том же направлении, что и раскол. Она ослабляла власть, подрывала ее устои. Это только на первый взгляд кажется парадоксальным. Ведь государство было не альтернативой расколовшейся культуре, а ее органическим продолжением, опосредствованием заключенного в ней противоречия. Значит, рождавшаяся из раскола новая культура, в которой должно было найти свое разрешение *основное цивилизационное противоречие*, была враждебна как самому расколу, так и созданной им государственности.

С этого момента российская власть принуждена была вести борьбу на два фронта: и против своих оснований (раскола), и против своих следствий (нового *синтетического* культурного класса). Будучи очень разными по своей природе, эти две силы действовали на власть в одном направлении, подтачивая ее силы.

Было, однако, и *отличие*. Раскол разрушал государственность пассивно, ослабляя ее самым фактом своего существования, то есть неповиновения части общества. Новая культура боролась с властью активно, с самого начала демонстрируя свою агрессивность. С течением времени в ее силах станет *взорвать российское государство* и вместе с ним уничтожить собственные культурные предпосылки. Но прежде новая культура должна была получить адекватное социальное, идеологическое и политическое воплощение. На это ушло более полутора веков.

Интеллигенция как ударная сила истории

В первые десятилетия Империи не могло быть и речи о том, чтобы *рядом* с властью в обществе образуется какая-нибудь иная социальная, политическая или духовная сила. Кроме всего прочего, поначалу власть вбирала в себя почти весь образованный класс российского общества, и потому иногда казалось, что они тождественны между собой⁴. Некоторое время власть была не только политическим, но и единственным *духовным центром* общества. Но такое положение оказалось возможным только до тех пор, пока социальная база власти была очень узка. Но желая укрепить стабильность режима, государство стремилось к расширению своей опоры. Поэтому к началу XIX в. произошло “отделение дворянства от государства”, и власть выступила представителем обоих культурных “классов” общества: “просвещенных верхов” и “темных низов”. Именно на данной стадии развития государство окончательно превратилось из посредника между двумя внешне обособленными культурами в опосредствование самого себя. По мере расширения социальной базы власть утрачивала свое монопольное право быть “лучом просвещения в темном царстве”: “образованный класс” стал *шире*, чем государство. И почти сразу же возникло, если так можно выразиться, “диссидентство”. Его представляли, естественно, выходцы из аристократических слоев. Это был еще не новый культурный “класс”, но уже его предтеча.

Происходило нечто вроде удвоения идеологии. Наряду с официальными появились и неофициальные взгляды на народ, политику, экономику, а также опальные идеологи: Н. Новиков, М. Щербатов, А. Радищев. В результате торжество окончательного становления Империи при Николае I было омрачено восстанием декабристов.

После прямого столкновения между государством и аристократической оппозицией развитие перешло в новую стадию. Началось непосредственное оформление того специфического культурного “класса”, который впоследствии был назван “*русской интеллигенцией*”. Пока ее формирование шло в недрах европеизированного, образованного, а главное – властвовавшего культурного “класса”, основным для нее был вопрос об отношении к своей противоположности – народу, представленному большей

⁴ Н. Бердяев пишет по этому поводу: “Петр противопоставил друг другу две культуры – традиционную русскую и западноевропейскую, причем они довольно четко разделились по разным уровням общественной иерархии... Понадобились десятилетия, чтобы европейская культура шире распространилась в русском обществе и космополитический облик высших сословий перестал вызывать неприязнь” [Бердяев, 1990^a, с. 11].

частью патриархальным крестьянством. На этом этапе интеллигенция разделилась по преимуществу на “западников” и “славянофилов”, которые выясняли отношения между собой в “узком кругу”.

Однако социальный состав интеллигенции стремительно менялся. Экономическое развитие России шло полным ходом, что требовало распространения образования уже на весьма значительные массы населения: образованные слои российского общества стали заметно шире просвещенного европеизированного культурного “класса”. Существеннейший момент: у выходцев из народной среды образованность сочеталась с патриархальными взглядами и предрассудками. Внутри интеллигенции они сравнительно быстро обособились в отдельную группу “разночинцев”. Вопрос об отношении к “народу” был для них менее актуальным и болезненным, чем для старых интеллигентов из высших слоев общества, так как разночинцы сохраняли непосредственно “народное” мироощущение. Зато у них гораздо сильнее была тяга к практическому переустройству народного быта, господствовавших общественных отношений.

Постепенно противоречие между европеизированным и патриархальным “культурными типами” в России *интериоризировалось* как противоречие между различными течениями внутри русской интеллигенции. Прения западников и славянофилов утратили в этот момент свою актуальность. Их сменили разногласия с далеко идущими политическими последствиями: между либералами, представленными главным образом выходцами из дворянско-буржуазной среды, и народниками, преимущественно разночинцами. Это была качественно иная фаза становления интеллигенции как нового культурного “класса”. Опять произошло *раздвоение* единого, произошел раскол. На этот раз раскол в среде интеллигенции. С этого момента эволюция интеллигенции напоминала ускоренную съемку эволюции русского общества. То, что произошло только что с русским обществом и государством в течение двух столетий, теперь происходило с интеллигенцией в течение нескольких десятилетий.

Я пытался показать, как двумя веками ранее раскол в обществе породил внутреннее раздвоение государства прежде, чем государство оказалось готовым “поглотить” ослабленное общество. Теперь же раскол в государстве вызвал к жизни раздвоение в среде интеллигенции прежде, чем она созрела для того, чтобы подчинить себе терявшее силы государство. Интеллигенция оказалась эмбрионом новой государственности, выношенным в утробе старой государственности. Естественно поэтому, что социальный онтогенез стал повторением социального филогенеза. Либерализм и народничество как течения внутри российской интеллигенции были односторонними, причем каждое в своем роде. Либерализм, родившийся из взаимопреодоления западничества и славянофильства, был одинаково критичен относительно как искусственного европеизма верхов, так и традиционной патриархальности народа. Вместе с тем ему не доставало активного волевого начала, необходимого для свершения практического переворота в общественных отношениях. Народничество было движением “энергии и воли”, но оно совершенно не критично, механистически отвергало культуру “верхов” и фетишизировало культуру “низов”. Дальнейшее историческое развитие требовало, чтобы рационализм и воля соединились в единое целое. За два века до того для восстановления государственного единства понадобился приход к власти нового поколения государственных деятелей. Теперь же для соединения воли и разума была нужна *новая генерация* интеллигенции.

Большевизм как высшая форма развития интеллигенции

“Новые люди” появились в среде российской интеллигенции в 80-е гг. XIX в. На смену романтическому и эмоциональному приходит жесткий и большей частью прагматичный тип личности [Бердяев, 1990^a, с. 79]. Идейной же формой, в которой осуществился синтез воли и рационализма, стал “*русский марксизм*”. Он имел мало общего со своим прародителем. Просто интеллигенция, к тому часу полностью сложившаяся как особый культурный “класс”, нуждалась в адекватной ее устремлениям идеологии.

Как это уже бывало (и будет еще) в российской истории, соответствующая идеологическая система была импортирована с Запада и приспособлена к “домашним” потребностям. Данный процесс был растянут во времени. Окончательная адаптация европейского марксизма к российским условиям завершилась с появлением большевизма.

Большевизм был наиболее полным, законченным и логически последовательным воплощением *нового типа* российской культуры – своеобразного и неповторимого *синтеза европеизма и патриархальности, индивидуальности и коллективности*. Иными словами, большевизм есть итог развития интеллигенции как особого культурного “класса”, возникшего на стыке двух основополагающих начал российской культуры. Правда, интеллигентская среда дала жизнь и другим направлениям. Но именно в большевизме присущие российско-интеллигентскому типу черты воплотились в наиболее адекватном, очищенном от исторических случайностей виде.

Большевизм знаменует собой завершение культурного развития интеллигенции. В его рамках происходит политическое оформление этого нового культурного “класса” в “протогосударственное образование”. То, что В. Ленин осторожно назвал “партией нового типа”, было на деле зачатком *государственности будущего*, “властеэмбрионом”. Следовательно, в недрах старой культуры развивался не просто новый “культурный тип”. Таким образом в недрах старого государства рождалось новое. Победа этого нового государства над изжившим себя старым, его переход из политического небытия в бытие означала, как представляется, *конец эволюции* российской интеллигенции, выполнившей таким образом свою историческую миссию.

“Обрыв” исторического развития в 1917 г., деление истории на российскую и советскую существуют, думается, лишь в воображении многих, а не в действительности. Советская история логически продолжает линию развития цивилизации, идущую через Российскую империю от самого Московского царства.

Современные попытки обосновать представления о революции как о бессмысленной трагедии – пример “науки отрицания”. В истории не существует страниц, крупных событий, лишенных целесообразности, а “белые пятна” есть в ней лишь для тех, кто не хотят или не умеют читать. История создает даже тогда, когда разрушает. Задача социальной науки видится мне не в критике революции, а в понимании ее на новом уровне знания, уяснении того, в чем собственно состоит ее исторический *смысл*.

Октябрьскую революцию действительно трудно объяснить, если смотреть на нее как на обыкновенную социальную революцию, в ходе которой происходит смена одного экономически господствующего класса другим. Дело в том, что ее подготовил и осуществил особый, не экономический, а *культурный класс*. Только в мифологии большевизма он был передовым отрядом пролетариата. В реальности же это – авангард российской интеллигенции. Победа революции означала прежде всего успех нового “культурного типа”. Рожденный старой культурой, он одновременно глубоко враждебен ей. Исторический смысл революции состоял именно в том, в чем этот тип разнился с предшествовавшим. Главной отличительной чертой нового “культурного типа” была его *гомогенность*, внутреннее единство. В его рамках внешне преодолевался раскол, присущий культуре эпохи Империи. Таким образом, историческое значение революции состояло, на мой взгляд, в преодолении раскола, раздвоенности российской культуры, что означало *преодоление ее внешней неорганичности*.

В возобладавшем “культурном типе” личностное и общинное начала уже не являлись чем-то раздельным внутри целого. Теперь это были лишь разные стороны, моменты единого целого. Каким бы ужасным ни казался постреволюционный культурный “класс” в сравнении с “классами” предшествовавшей эпохи, он имел перед последними одно неоспоримое преимущество – был *органичным*.

Культурный смысл русской революции

Большевистская революция естественно вписывается в логику российской истории. Ею завершается важный этап длительного, многовекового процесса трансформации культуры, ее *движения от неорганичности к органичности*. Эта революция

замыкает череду скачкообразных культурных “подвижек”, которые несколько раз на протяжении истории потрясали общество. После нее начинается совершенно новый цикл развития России, “развертывания” ее уже внешне органичной культуры в нечто новое, ранее неведомое. Означает ли вышесказанное, что революция была неизбежной? Для ответа нужно провести разграничение между исторически необходимым и исторически случайным.

Исторически необходимым следует признать преодоление раскола. Культурное противостояние к концу XIX в. стало главным тормозом общественного развития, что постепенно осознавалось на самых различных уровнях. К примеру, столыпинская программа была прямым конкурентом революционных проектов интеллигенции. Она нацеливалась на решение тех же вопросов, которые впоследствии были разрешены революцией. Реформы П. Столыпина предполагали постепенное уничтожение пропасти между образованными слоями и патриархальной массой, что, в свою очередь, должно было подготовить то перемирие между властью и умеренными элементами общества, без которого он не видел спасения [Тимашев, 1992, с. 10]. Столыпин, таким образом, также стремился к созданию органичной культуры, но хотел достичь этого поэтапно, эволюционным путем.

Исторически случайным стал именно способ, которым одолевался раскол. Как почти всегда в истории существовала альтернатива: между стихийно-насильственным и управляемо-правовым устранением культурного противоречия, раздиравшего Россию. Однако вероятность первого и второго вариантов была разной. Требовалось стечение слишком многих “счастливых” обстоятельств, чтобы раскол “снимался” цивилизованно, под контролем власти. Это было маловероятно и не произошло. Все стоявшие перед обществом и властью задачи решались насильственно в ходе революции.

В связи с этим следовало бы различать исторически необходимые и исторически случайные *последствия* Октябрьской революции. К первым, а, значит, неизбежным ее результатам можно отнести само преодоление раскола и установление господства нового “культурного типа”. Ко вторым, то есть необязательным эффектам, – воздействие, оказанное на общество в целом и на каждую отдельную личность, революционным, насильственным способом преодоления раскола. Состояние российского общества так долго определялось прежде всего тем, **как (каким способом)** возобладали новый “культурный тип”, что это мешало осознать **о каком именно** “культурном типе” идет речь.

За представителем новой культуры, возобладавшей в результате революции, прочно закрепилось уничижительное название “*homo soveticus*”. Его “подпорченный” имидж стал предметом едких насмешек. Однако те, кто сегодня активно бичуют нарицательные черты “*homo soveticus*”, как правило, не задаются вопросом, какие из них являются сущностными характеристиками данного “культурного типа”, а какие были приобретены в результате многолетнего применения по отношению к человеку чудовищного насилия, порожденного революцией.

Если отказаться от мифологизации российской интеллигенции⁵, то можно обнаружить, что многие из приписываемых “*homo soveticus*” черт вполне соответствуют душевному строю “русского интеллигента” XIX в. Обращусь за подтверждением сказанного сразу к двум авторитетным суждениям.

Бердяев писал: “При поверхностном взгляде кажется, что в России произошел небывалый по радикализму переворот. Но более углубленное и проникновенное познание должно открыть в России революционной образ старой России, духов, давно уже обнаруженных в творчестве наших великих писателей, бесов, давно уже владеющих русскими людьми. Многое старое, давно знакомое является лишь в новом обличье” [Бердяев, 1990⁶, с. 55].

О том же пишет В. Муравьев: “Революция произошла тогда, когда народ пошел за интеллигенцией. Конечно, народ по совершенно независимым от последней причи-

⁵ Это, конечно, нелегко, потому что “русский интеллигент” как тип был почитаем подавляющим числом представителей постреволюционных поколений моих соотечественников.

нам должен был куда-то идти. Великое народное движение, во всяком случае, должно было произойти в результате кризиса русской жизни, усугубленного войной. Но путь, по которому пошел народ, был указан ему интеллигенцией” [Муравьев, 1990, с. 196].

Однако интеллигентское мирозерцание, став **народным мировоззрением**, то есть будучи таким образом многократно растражированным, утратило определенность и остроту, сделалось более сглаженным, аморфным. Во много раз снизился уровень образованности, малозаметной стала одержимость, обостренность воли. И свету явилась та безликая и агрессивно-пассивная посредственность, которая известна сегодня под именем *“homo soveticus”*.

Русский “модерн”

Каким бы существенным ни казалось на поверхности различие между *“homo soveticus”* и российским интеллигентом – это представители **одного** “культурного типа”. Для него характерен синтез индивидуального, личностного и коллективного, общинного начал в **единое органическое целое**.

“Homo soveticus” – исторически финальный продукт культуры раскола, в котором она изживает себя. В этом “продукте” ни общинное, ни индивидуальное начало уже не проявляют себя непосредственно, а **интериоризированы** новой **уже синтетической, но не ставшей после этого симпатичной** личностью. Таким образом, Россия, вслед за Европой, самобытно завершила процесс индивидуализации⁶.

Но при этом Россия так и не стала Европой. Она встала *рядом* с Европой. Она вошла в шеренгу культур “победившей индивидуальности”, но заняла в этой шеренге самое крайнее место. Потому что индивидуализация в России не сопровождалась персонализацией. “Советский человек” оказался больше именно индивидом, чем личностью. “Азиатчина” была вытеснена из его сознания в его подсознание. В *“homo soveticus”* разрядилась энергия более чем двухвекового противостояния “верхов” и “низов”, Европы и Азии, образовав внешне однообразную массу посредственных субъектов. На самом деле это очень *энергетически насыщенная протоплазма*, способная стать “питательной средой”, “бульоном” для новых культурных “подвижек” (скачков) в России.

“Homo soveticus” – первый массовый тип личности, рожденный на почве российской культуры. Очень долгое время облик этой личности определялся тем насилием, которое она испытала при появлении на свет. Родовая травма, полученная им при рождении и усиленная тотитарным воспитанием, обременила его до самой смерти.

Все в советской эпохе было промежуточным, половинчатым, незаконченным. Сам “советский человек” оказался переходным культурным типом. И в этом был глубокий исторический смысл. Потому что советская культура была преддверием Нового времени России. Она подготавливала почву для будущего, латала какую-то дыру в историческом развитии. Что это была за дыра? В России практически отсутствовала почва для буржуазных отношений, потому что в ней никогда не было феодальных отношений, в рамках которых и было выпестовано третье сословие в Европе. Вот эту прореху и следовало закрыть. *Post factum* советская эпоха должна была решать исторические задачи, которые в рамках западной культуры решались в эпоху феодализма. Особенность вхождения России в эпоху модерна состоит в том, что российскому Новому времени предшествует особый (“эмбриональный”) период развития, в рамках которого происходит вызревание элементов культуры модерна.

Советская эпоха – это “компенсатор” отсутствовавших в России феодальных отношений, подготовивших европейское Новое время. Именно поэтому советскую эпоху можно обозначить – в зависимости от избранной точки отсчета – и как поздний

⁶ В Европе элементы Нового времени созрели в недрах средневекового феодализма. В ходе буржуазных революций вполне уже жизнеспособные нации сбрасывали устаревшую “оболочку”. Россия же вступает в эпоху Нового времени долго и мучительно, прокладывая к нему особенный путь. В ней феодализма, феодальной культуры в европейском понимании не было.

квазифеодализм, и как ранний квазикапитализм. Тезис о *советской культуре как protoкультуре Нового времени* на первый взгляд опровергается явной антибуржуазной направленностью Октябрьского переворота. Но на самом деле в ходе большевистской “революции” уничтожалась мнимобуржуазная культура одной десятой части общества и создавались условия для будущего (*отнесенного на несколько столетий в историческом времени*) усвоения буржуазной культуры девятью десятыми общества, находившимися в 1917 г. на дофеодальной ступени развития.

Понимание советской культуры в качестве эмбриональной формы российского Нового времени позволяет опровергнуть миф о тоталитаризме как состоянии общества, при котором прекращается (замораживается) всякое развитие. Только поверхностному наблюдателю советское общество кажется застывшим. На самом деле внутри него происходило весьма интенсивное развитие. Общество действительно было закрытым, но динамические процессы в нем от этого не останавливались.

Если “ранний тоталитаризм” выглядит как феодализм, впитавший в себя достижения научно-технической революции, то “поздний тоталитаризм” похож на капитализм, обремененный пережитками феодализма и отсталой технической базой. В этом смысле необоснованным выглядит популярное ныне отождествление коммунизма и фашизма. Конечно, определенное сходство режимов существует, но оно не выходит за рамки сходства двух любых деспотических культур.

В таком контексте коммунизм похож на империю Чингисхана и на Россию времен Ивана Грозного не меньше, чем на германский нацизм. Природа же фашизма и коммунизма различна. Фашизм есть патологическое развитие культуры Нового времени. Как и всякая патология, он выглядит дегенерацией, провалом в историческое прошлое, в деспотическое средневековье. Коммунизм – преддверие культуры Нового времени, ее недоразвитие, строй, не вырвавшийся до конца из тисков средневековья.

Россия еще не взошла в свое Новое время. Поэтому все институты, характерные для европейского Нового времени, находятся в России и других осколках бывшего Советского Союза в эмбриональном состоянии. **Ни один процесс, подготовлявший эпоху модерна, не был в России завершен.** Здесь так и не произошла полная эмансипация политической власти, государство не приобрело значение всеобщего, и как следствие, не сложилась нация. Может быть, только сегодня этот процесс выходит на финишную прямую.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Ахиезер А.С.* Россия: критика исторического опыта. В 2 т. Новосибирск, 1997–1998.
- Бердяев Н.А.* Духи русской революции // Из глубины. Сборник статей о русской революции. М., 1990^б.
- Бердяев Н.А.* Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990^а.
- Горлянский В.А., Горлянская М.Н.* Единство противоречий и законов общества // Соотношение противоречий и законов общества. Горький, 1981.
- Кавелин К.Д.* Взгляд на юридический быт древней России // *Кавелин К.Д.* Наш умственный строй. Статьи по философии русской истории и культуры. М., 1989^б.
- Кавелин К.Д.* Мысли и заметки по русской истории // *Кавелин К.Д.* Наш умственный строй. Статьи по философии русской истории и культуры. М., 1989^а.
- Ключевский В.О.* Исторические портреты. М., 1990.
- Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 23, 46. Ч. I.
- Муравьев В.Н.* Рев племени // Из глубины. Сборник статей о русской революции. М., 1990.
- Соловьев С.М.* Публичные чтения о Петре Великом. М., 1989^б.
- Соловьев С.М.* Россия перед эпохой преобразования // *Соловьев С.М.* Чтения и рассказы по истории России. М., 1989^а.
- Тимашиев Н.С.* Роль П.А. Столыпина в русской истории (Предисловие) // *Бок М.А.* П.А. Столыпин. Воспоминания о моем отце. М., 1992.